

* * *

Созревшим боком хвастает луна.
Там, за забором, сторож неприветлив...
Но вдруг рука потянется сама
к отяжелевшей яблонево́й ветви...

Никто в дому огня не зажигал,
не ждал гостей с ночного полустанка.
И не видать смурного мужика
с пристрелянной отцовскою берданкой.

Наверно, он сегодня запоздал:
в чужом саду искал хмельного счастья.
Трепещет в небе сонная звезда,
готовая сорваться в одночасье.

Застынет сердце мухой в янтаре
и вскрикнет потревоженная птица,
когда она по сморщенной коре
серебряной дорожкой прозмеится.

Луна расплавит в озере сурьму,
и я тебе, от страха обмирая,
антоновку в ладонях протяну —
и нас хозяин выгонит из рая.

* * *

Это запах весны? Это гари и засухи запах...
Разорвет облака

вопрошающе-долгое «Каррр...» —
ошалевшая птица с надеждой посмотрит
на запад,
но в застывшем зрачке отразится
пылающий шар.

Потемневшая даль ей опять ничего не ответит.
Заплутавший ручей пересохнет, как слезы Рахиль.
Прошуршит по кустам изведенный бессонницей ветер
и взметнет над дорогой прогорклую серую пыль.

В непроглядной ночи приоткроются памяти недра:
ты узнаешь в лицо распростертых в горячей пыли
и, сухими глазами уставившись в мертвое небо,
будешь с ними молить ниспослания лучшей земли.

Эти вязкие мысли под утро почуют во бозе.
Разленившийся дождик пробьется из душных перин.
И дурная ворона отыщет гнездо на березе,
где ее желторотик проклюнет яйцо изнутри.

* * *

Ну, куда ты пойдешь
по раскисшему старому городу?
Вечер лезет в окно.
Разговор, словно чайник вскипел.
Мы устроим кутеж,
и Создателя схватим за бороду,
и печали в вино
окунем, как младенца в купель.

...Гулко хлопнула дверь.
Холодок просочился за шиворот.
Смачно чавкнул январь
под подошвами грязных сапог.
То ли хлябь, то ли твердь —
и зима, и перчатки навыворот.
И вечерняя хмарь
шерстяной распустила клубок.

Сколько было дорог,
уводящих тебя, возвращающих...
Сколько было друзей,
предлагающих всласть покутить...
Но последний пирог
именинный не съеден пока еще,
и скрипит карусель,
и везет от корчмы до кутьи.

Так однажды душа
заскрипит покореженным ясенем,
что, о прошлом скорбя,
рубцевал письма на коре.
Календарь вороша,
ты сыграешь со временем в классики
и отыщешь себя
на скамейке в пустынном дворе.

Посмотри, как дрожит этот лист на березовой ветке.
Полпути до зимы нам отмерят вот-вот Покрова.
Прорастает тоска, словно детство из песен советских,
и сбиваются в стаи бескрылые прежде слова.

Улетают к теплу облака, журавли, паутина —
неизбежный исход накануне больших холодов.
Пусть для всех моисеев найдется своя палестина.
Нам достанет юдоли и вне гефсиманских садов.

Журавлиное эхо в озябшие заводи канет...
Проплывут над рекой непрожитых столетий клубы,
там, где Пушкинский мост обреченно бряцает замками
и рискует прогнуться под тяжестью чьей-то судьбы.

Посмотри: этот город из ветра и времени соткан.
Нам подсыпала осень в карманы звенящих денег.
Обнаженная ветка скребется в закрытые окна.
Я держу тебя за руку крепче, чем можно держать.

* * *

Скрипел сквозняк несмазанною дверью.
Девичья юбка сделалась узка...
И трепетное что-то в подреберье
сжимала безотчетная тоска,

выдавливала совесть без остатка,
на бересте крутила писем вязь...
И осень, словно пьяная солдатка,
чужого мужа в гости заждалась.

И выпал снег... Не к своему порогу
его звезда сегодня привела.
Качалась в небе сонная пирога.
Стучалась в окна глупая ветла...

А поутру кричали заполошно
сороки, разнося шальную весть.
Брела старуха в стоптанных калошах,
шептала: «хлеб насущный», «даждь» и «днесь».

Разветрилось. По лужам зарябило.
Ослушникам досталось поделом.
И густо покрасневшая рябина
прикрыла ноги ветхим подолом.

Часы не остановятся, когда
среди июльской терпкости полынной
осина у чернильного пруда
засмотрится в студёные глубины.

Так женщина начало октября
предсказывая, словно ворожея,
однажды утром взглянет на себя,
да только не узнает отраженья.

И отойдет от зеркала в сердцах,
когда поймет — и сделается строже, —
что паутинку липкую с лица
она смахнуть, как в юности, не может.

И больше не поверит докторам.
В шкафу отыщет кофту потеплее...
И забелеет вата между рам
от зазимков до мартовской капели.

...Дрожит на ветке сморщенный листок.
Сплетает время свой широкий невод.
И выцветает синий лоскуток
остывшего октябрьского неба.

Поутру на попутке собравшись отчалить,
уложив беспокойную память в суму,
ты смотрел через розовый дым иван-чая:
не дымится ли печка в знакомом доме.

И шептала криница тебе в изголовье,
между явью и сном размывая мосты,
что не скажется гость в опустевшем гнездовье,
не нарушит суровой его немоты,

чугунок не поправит тяжелым ухватом,
прохудившийся невод не сядет плести,
не заглянет в глаза покосившейся хаты,
возвратясь из обжитых своих палестин.

...Может быть, не об этом журчала криница,
но печаль, как травинку, сминая в горсти,
ты сегодня зашел по-соседски проститься —
и молчишь покаянно, не в силах уйти.